



*Людмила Анисарова*

**ПУСТЬ ДУША  
ПОТРУДИТСЯ**

*рассказы*

# Людмила Анисарова

## Пусть душа потрудится

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=70118203](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=70118203)*

*SelfPub; 2024*

### **Аннотация**

В книгу вошли рассказы, написанные в разные годы (1998 – 2021). Их объединяет желание автора видеть мир более совершенным и счастливым. И ещё – уверенность в том, что каждому человеку нужно успеть найти свою дорогу к Храму.

# Содержание

Пусть душа потрудится	4
Лапушка, или Она пошла за ним	14
Одиночество	21
Конец ознакомительного фрагмента.	43

# Людмила Анисарова

## Пусть душа потрудится

### Пусть душа потрудится

У Маши обнаружилась бабушка! Бывает же... Росла себе Маша росла у мамы под крылышком, девять классов окончила, теперь вот в художественном училище учится, на второй курс перешла. И вдруг – бабушка, откуда, можно сказать, ни возьмись. Дело в том, что папы у Маши не было. Ну, в смысле, они с мамой расстались ещё до её рождения. Мама была детдомовской, поэтому и вышло так: мама да Маша, Маша да мама – и никого больше. Мама у Маши необыкновенная. Во-первых, красавица. Маша с детства её портреты карандашами рисовала, а теперь она смотрит с Машиных акварелей синими глазами – и нет для Маши никого лучше. Во-вторых, мама помешана на книжках. Она библиотекарь. Книгами у них завален весь дом. Когда Маша была маленькой, мама ей всё время читала, потом – тоже, потому что самой Маше было лень. Любви к чтению так и не возникло. Мама от этого страдала. Мама много от чего страдает. Впечатлительная она у неё слишком.

Теперь про бабушку. Не случайно, оказывается, Маша в художественное пошла. Бабушка-то, мама папы, которого

Маша так никогда и не увидела, художницей оказалась. Вот так. Как она их с мамой нашла – история длинная. Но вот нашла. И пригласила Машу в гости. И теперь Маша спит на раскладушке – в настоящей мастерской настоящей художницы. Вдоль стен на специальных стеллажах – холсты, большие и маленькие. Бабушка, кстати, на бабушку не похожа вовсе. Она такая... как бы это сказать, совсем не старая женщина, худенькая, быстрая, с короткой стрижкой... с ней легко и просто.

Маша проснулась рано. Начала думать про всё сразу, как обычно. И получалось, что сейчас счастливее неё и нет никого. А раньше, хоть и мама у неё лучшая на свете, всё казалось, что судьба недодала им слишком многого. Зато теперь – просто через край. К лучшей маме – такая бабуленция в придачу. Улёт! Нет, ну правда же, слово бабушка с ней никак не вяжется. Лена – так она велела себя называть. И Маше это очень даже нравится. Разговоры у них, конечно, про училище, про живопись. Маше, честно говоря, ужасно стыдно от того, что она многого не знает. Ладно, ничего, у неё ещё вся жизнь впереди – это Лена так говорит.

Вставать не хотелось. Поваляется ещё немного. Маша привычно потянулась за смартфоном. Ну и зависла там, ясное дело. Пока всё пересмотришь, пока все комменты перечитаешь, да своиставишь... В общем, затянуло. Лена заглядывала несколько раз:

– Машенька, доброе утро! Завтракать!

– Лена, ну ещё чуть-чуть! Ну пожалуйста-а-а, – ныла в ответ Маша.

Лена расстроено пожимала плечами. Разочаровывала её внучка. Как все, с телефоном не расстаётся. Поговорить толком не получается. А ведь умненькая девчонка. И не без способностей. Работы у неё интересные. Показывала в смартфоне своём.

О, появилась наконец!

– А что это у нас с лицом?

– Телефон накрылся. Погас и всё. Старый уже.

Внучка втайне надеялась, что появившаяся в её жизни бабушка на новый смартфон и подкинет.

– Ничего, Машенька! Купим новый.

Та-да-а-м! Ура-ура! Девчоночья душа ликовала. Маша давно знала, какой смартфон ей нужен. Дорогой, конечно. Интересно, потянет Лена или нет? Должна. Она свои картины туристам продаёт. Говорит, покупают. Так что... Ура! Только вот... Как вытащить всё из старого? Там же вся Машина жизнь! Абсолютно вся! И как дожить до покупки нового телефона? А вдруг со старого уже ничего не перекинешь? Ужас...

Маша начала бить рукой по стене. Начиналась истерика. Лена перепугалась не на шутку. Ох, ничего себе...

– Маш, прошу тебя, успокойся! Мамин же телефон есть у нас – это главное. Позвоним, предупредим. А всё остальное...

– Ты ничего не понимаешь! – кричала Маша. – Там всё, всё, всё! Это у тебя старьё кнопочное!

Да, у Лены не было смартфона. Не считала нужным. Трясущимися руками налила Маше воды. Она не знала, как обращаться с подростками, тем более современными. Тем более, в истерике. Попыталась обнять – Маша оттолкнула.

Лена заплакала и ушла в комнату, к иконам.

– Пресвятая Богородица, помоги!

Молилась. Что она ещё могла? Прямо сейчас ехать с внучкой в город за телефоном? Но сегодня никак не получится. Есть дела в монастыре. Там без неё не справятся. Лена решила пока не выходить из комнаты. Пусть девочка сама успокоится.

Маша пришла минут через десять. С виноватым видом. Обняла Лену. Помолчали.

– Машенька, в город сможем поехать только завтра. Я сейчас – в монастырь, у меня дела. Завтракай сама. Не маленькая.

Лена решила быть строгой.

– Всё в твоём распоряжении. С делами управлюсь, приду за тобой. Монастырь покажу. Но это будет часов в пять, не раньше.

Маша показала на компьютер:

– А интернет?

– Прости, дружочек, не успела оплатить.

Лена сказала это слишком легко, почти весело, и Маша

буквально задохнулась от возмущения. Ничего себе! Целый день – без интернета?! Это уж вообще... Приехала, называется, в гости...

– Можешь порисовать.

Лена, казалось, не замечала, что творится с Машей.

Рисовать? Неохота пока, вдохновения нет. Лена на книжки показывает: читай! Да не любит Маша читать! Гулять? Одной? В общем...

А Лена всё своё:

– Маш, там в мастерской, в толстой-толстой папке, подшивка нашей газеты. За двадцать лет! Представляешь?

Ну да, газеты – это самое оно! Маша изобразила это лицом – Лена не выдержала, засмеялась. Ох уж эти современные дети!

Выйдя из дома, Лена продолжала улыбаться. Ей всё-таки нравилась её внучка. Смешная. На Митеньку вроде и не очень похожа, но когда сердится, то нос морщит точно так же, как он в детстве. А похожа она на бабушку Лену. Вот это уж точно! Она сразу увидела, когда они первый раз по скайпу связались, и скулы свои упрямые, и улыбку насмешливую, и волосы, солому непослушную.

Вот, сын, нашла я твою доченьку. Ты рад, мой хороший?

А может, Маша и возьмёт в руки книжку? И в мастерской, и в комнате много чего интересного разложено на видном месте – специально для внучки. Лена снова заулыбалась: вот и поживи, девочка, без интернета хоть денёчек. Пусть душа

потрудится.

Маша побродила по мастерской. От холста к холсту. В основном – церкви. Точнее, наверное, этот самый монастырь, где Лена работает. Посёлок от него в десяти минутах ходьбы, как Лена говорит. Ну да, рядом. Вон за окном сияют сквозь деревья купола. Маша вчера утром приехала, Лена её с поезда встречала в городе, потом на такси сюда добрались. Лена по дороге всё время что-то рассказывала. Она когда-то очень давно приехала в эти края, как она говорит, на пленэр, а потом так и осталась здесь. Дали ей в посёлке квартиру огромную – под мастерскую. Она в монастыре работает кем-то, в том числе, и в газете. Про папу тоже рассказывала. Оказывается, он умер ещё десять лет назад. Жалко...

Послonyaвшись по квартире, Маша вспомнила про еду. Но было так лень... Смартфон из рук не выпускала, всё надеялась, что экран, наконец, засветится, но он и не думал... Настроение снова и снова портилось.

Ну ладно, так и быть, посмотрим газеты, вздохнула тяжело Маша. Вернулась в мастерскую, стащила со стеллажа на пол тяжёлую папку. Ничего там не было подшито: просто целая кипа газет. Маша вытащила самые нижние. Старые, как в музее. Неужели им целых двадцать лет? Маши тогда и на свете не было... Фотки так себе... Сверху – газеты совсем другие, намного лучше. Ну, в смысле, качество нормальное. Фотографии хорошие. О, монастырь, наверное! Один и тот

же вид – и в старой газете, и в новой. Маша разложила на полу несколько номеров. Принялась сравнивать, ползая на коленях от одной к другой. Надо же... Двадцать лет назад всё было по-другому. Маша уселась поудобнее, начала читать. Потом улеглась на живот, осознав, что она с этими газетами – надолго. Она хваталась сначала то за одну, то за другую, потом зависала на какой-нибудь статье. Интересно же! В номерах разных лет было много про что. Про то, как возник монастырь, как строился, как горел, как его закрыли после революции. Как там была колония для малолетних преступников. Про то, как тридцать лет назад монастырь начали восстанавливать. И фотографии, фотографии...

Вот классная фотка! Вокруг куполов – деревянные леса, люди. Один купол уже блестит, а другие пока нет. Как же это они делают? Это прям чистое золото? Или как? Красят золотой краской? Надо будет у Лены спросить. Маша снова вернулась к самым старым газетам. Они почему-то больше притягивали.

Происходило что-то непонятное. Ведь Лена присылала ссылки, и Маша с мамой видели многие из этих фотографий. Красиво, понятное дело. Правда, это мама, как всегда, восторгалась. У Маши не было на это времени. Она всё время куда-нибудь спешила. Или была на связи в соцсетях, откуда, как говорила мама, её за уши не вытащишь. А тут – старые, пожелтевшие страницы. Им двадцать лет. Двадцать лет назад её бабушка Лена всё это собирала, размещала. Думала,

что да как. И все эти годы она, что ли, всё это делала? Надо спросить.

Старые газеты по-особенному пахли. Маша не понимала, чем именно, но запах этот был ей приятен, она то очень глубоко вдыхала его, то специально принюхивалась, шмыгая носом. И вдруг вспомнила. Мама однажды сказала: «Знаешь, как пахнет время? Оно пахнет подшивками старых газет». Мама работает в зале периодики. И любит всем рассказывать (она вообще очень любит всем всё рассказывать), как это интересно. А про то, как пахнут подшивки газет... Мама тогда делала мероприятие про войну... Так вот. Когда готовилась и работала с газетами того времени, приходила домой и всё время Маше что-нибудь зачитывала из отдельной папки. Говорила: «Ты понимаешь... это что-то невероятное». И плакала.

Маша не очень понимала, про что она... И вот теперь... Только это словами как-то не очень получается... Таких, наверное, слов нет, чтобы Маша могла сейчас сказать, что именно её зацепило. На экране компьютера, может, всё выглядит красивее, чем на пожелтевшей газетной странице. Но в газете – по-другому, как-то человечнее. Как будто ты (а тебя ведь ещё нет на свете!) там, со всеми, кто жил и двадцать лет назад, и тридцать, кто восстанавливал этот монастырь и кто потом рассказывал об этом.

Пальцы прикасаются к бумаге, которой много лет. Бумага пахнет временем. Она его хранит, вот что! Бумага хра-

нит время, а значит, и жизнь, и всё, что там было в голове у этих далёких людей. И они вдруг оказываются не далёкими, а очень-очень близкими. Вот до чего додумалась Маша! Она даже носом хлопнула несколько раз. И ей даже захотелось всё это записать, хотя с сочинениями в школе у неё всегда были проблемы. Да и теперь, в училище. Если честно, мама ей всё писала и пишет.

Ой, кто это?! Маша чуть сознание не потеряла. На фотографии стояла она! Только в непривычной одежде: в длинной юбке, на голове – платок. Вместе с какими-то людьми. На фоне храма. Уф... Ну, конечно же, это Лена. Маша начала считать... Собственно, Лена здесь уж и не такая молодая по возрасту. Но выглядит... Надо же, как они похожи, оказывается. А Лена-то про это знает? Или это только на фотографии? Жаль, что нельзя, как на смартфоне, увеличить и как следует рассмотреть.

Маша так и лежала на полу, иногда садилась, чтобы лучше что-нибудь понять. Прошёл и час, и два, и три... Она забыла про время, забыла про завтрак... Возвращалась к газете с фотографией Лены. Надо же... Как она могла в первый момент подумать, что это она, Маша?

\*\*\*

Дорога шла вдоль белой монастырской стены. С одной стороны – стена древнего монастыря (теперь Маша точно знала, что ему целых четыреста лет), а с другой – озеро. И оно было таким же, как тогда, когда здесь появился инок

Филарет. В голове это просто не укладывалось. Она, Маша, идёт по берегу озера, как в начале семнадцатого века здесь ходили присоединившиеся к этому самому Филарету монахи. Она присела на скамеечку, чтобы обдумать это. И чтобы спокойно взглядеться в красоту Божьего мира. Так, наверное, сказала бы Лена. Или уже говорила? Надо будет сюда прийти порисовать. А вот интересно, захочет ли её бабушка, чтобы в следующий раз Маша приехала сюда вместе с мамой?

Да-а, озеро здесь просто нереальное. Такое тихое, такое спокойное, что хочется плакать. Ну уж нет! Это мама бы сейчас всплакнула. Но сначала она бесконечно бы восхищалась. Она ведь у неё как маленькая! Кружилась бы тут, на берегу, в своей голубой длинной юбке. У неё юбка... ну вот почти как небо сейчас... или как озеро... У Маши защипало в носу. Она снова на себя рассердилась. И стала думать про другое. И придумала: Лене будет приятно, что Маша читала её газеты. И теперь уже, кажется, не будет стыдно. И можно будет о многом расспросить, когда они отправятся вечером туда, за белую стену, куда уже начала потихоньку тянуться Машина душа.

*2021 г.*

# Лапушка, или Она пошла за ним

Светлана Алексеевна возвращалась с дачи. Электричка, как всегда, была переполнена. И ехать, как всегда, было нескучно.

Ехать было нескучно, потому что продавцы журналов и газет с чувством сообщали новости, самые разные. Все с интересом слушали и ничего не покупали: ни журналов их, ни газет.

Ничего не покупали и у тех, кто, с трудом пробираясь по вагону, предлагал всякие совершенно необходимые в хозяйстве и в дороге вещи: прищепки и шариковые ручки, батарейки и пакеты, носки и фломастеры.

Никто ничего не покупал, и продавцы шли себе дальше. Светлане Алексеевне всегда было жалко их: а что если и в соседнем вагоне никто ничего не купит? Но особенно ей было жалко «неместных» беженцев-погорельцев. И на их просьбы «помочь кто чем может» она неизменно откликалась. Откликалась своей жалкой лептой, чем часто вызывала скептические улыбки рядом сидящих: поверила, чудачка! Эти скептические улыбки никогда не сбивали её с толку. Ну и что, если неправда? Пусть. Нельзя отказывать, если просят.

Нельзя отказывать, если просят. Так учила мама. Мама, которая всегда называла её Светиком. Никто, кроме мамы, не называл так Светлану Алексеевну.

А было Светлане Алексеевне всего тридцать два. И могла бы называться она вовсе не Алексеевной, а просто Светой. Но так получилось, что в отделе, куда она пришла работать после техникума, её сразу стали называть по имени-отчеству – то ли в шутку, то ли, правда, с уважением. Она и привыкла. Светлана Алексеевна да Светлана Алексеевна. И представлялась всем всегда именно так. Может, от её полного имени и шарахались мужчины? Кто ж их знает. А Светик-Светлана Алексеевна тем более знать этого не могла. Потому что в её тридцатидвухлетней жизни мужчин не случилось. И были они для неё далеки и непонятны, как динозавры на картинках.

Динозавры на картинках не вызывали у Светланы Алексеевны ни малейшего интереса: динозавры и динозавры! Так же обстояло дело и с мужчинами. Хотя... Было, конечно, когда-то: ждала. А потом поняла: не судьба. Обделённой от этого она себя вовсе не считала. И слёз по этому поводу не лила.

Посерьёзнее было, из-за чего слёзы лились рекою. Мама много лет была парализована. А два года назад её не стало.

Мамы не стало – а её Светик всё равно не считала себя несчастной. И жить ей всё равно было интересно. Вон сколько всего вокруг! Хотя, конечно, после того, как не о ком стало заботиться, затосковала она. Сильно затосковала. И книжки, читанные-перечитанные, которых у них с мамой было множество (как мама хотела, чтобы дочь стала учительницей литературы ...) не спасали. Чуть ли не целый год каждую

ночь слышался ей мамин слабый голос: «Светик, попить». Она, тревожно ждущая этого, вмиг вскакивала и в надежде подбегала к маминому дивану – холодному и пустому. И падала на него. И рыдала. И причитала в голос причитаниями деревенскими, которых никогда нигде не слышала. Но прошёл год. Боль утихла. И Светлана Алексеевна не причитала больше, а спокойно рассказывала маминому портрету про всё-про всё. Про то, что зарплату пока задерживают, но зато обещают прибавить. Про то, что цены растут, конечно, но картошка со всякими соленьями есть и продержаться зиму вполне можно. Про то, что начальник сказал: «У нас в отделе одной Светлане Алексеевне можно доверить такую работу». Мама грустно улыбалась с портрета.

Мама грустно улыбалась с портрета, а Светик, рассказывая, успевала много чего переделать: и приготовить, и убрать, и пошить немного. Всё ей давалось легко, всё получалось быстро. А дел, хоть и одна, всегда хватало.

Дел всегда хватало, и Светлана Алексеевна не уставала удивляться вечно сидящим у подъезда соседкам: когда же они домом занимаются? детьми? А они не уставали удивляться ей: одна, а всё хлопочет чего-то. Чего хлопотать-то, если одна? Светлана Алексеевна знала, как беззлобно злословят за её спиной старушки и не совсем старушки, но не обижалась на них. Им же надо о чём-то говорить!

Надо о чём-то говорить. Так считали и те, кто ехал сейчас со Светланой Алексеевной в электричке: «...вот я не так

делаю. Как только третий листочек даст, так я и пересажаю... А он ей: больно долго думала, моя дорогая, я уже женился. Она так и села. Не ожидала, значит... Да все они одним миром мазаны, только бы нахапать успеть...»

И вдруг серую, скучную монотонность вагонного вещания перекрыли доморощенные рифмы: «Не привык просить я Христа ради, гордость всю свою в кулак зажав, но прошу вас, граждане хорошие, выслушать российского бомжа». Народ, примолкнув, оживился. Те, кто сидел лицом к говорящему, подались вперёд, раскрыв пошире глаза и забыв закрыть рты. Те, кто сидел к нему спиной, не поленились дружно повернуть головы. Равнодушных, по наблюдениям Светланы Алексеевны, не оказалось. Это было странно. Очередной проситель – и вдруг такое внимание. Только из-за рифм?

Только ли из-за рифм все настроились слушать очередного попрошайку? Светлана Алексеевна, которая сидела лицом к стихоплету и тоже смотрела на него во все глаза, понимала, что – нет, не только. Конечно, было видно, что пьющий. Конечно. Но, во-первых, сейчас он был, кажется, трезв. Во-вторых, на нём был вполне приличный костюм, надетый, правда, на футболку непонятного цвета. А в-третьих, на него просто хотелось смотреть, вот в чём дело. Хотелось смотреть на чисто выбритые благородно-впалые скулы, на седые аккуратные виски. Хотелось не отводить взгляда от его серых живых глаз, умных и внимательных. И слушать бомжа, обладателя мягкого и густого голоса с легкой хрипотцой, тоже

хотелось. А он, видимо, зная это, продолжал: «Я, конечно, понимаю, что не близко вам моё страдание души. Как Сережка, был я скандалистом, только не достиг его вершин». Замызганный дед напротив Светланы Алексеевны даже прищипнул от восхищения: так ему понравились стихи. А женщина лет сорока, с короткой стильной стрижкой, в очках и с книжкой, презрительно передёрнула плечами: ей не нравилось. И она, до этого не читавшая, а просто державшая в руках мягкопереплётный то ли любовный роман, то ли детектив, демонстративно уткнулась в него.

Она уткнулась в свою книжку, а бродячий стихотворец уже стоял рядом с ней: «Чаще, конечно, получаю я фигу, женщина напротив читает книгу». Читаящая гневно вскинула голову: «У меня у самой пустой кошелёк!» А он ей – мягко и без рифмы: «Лапушка ты моя. Да я разве в осуждение? Я так, для примера». Дед аж подпрыгнул: а про него сможет или нет? Смог! Смог: «У тебя, отец, костюм не новый. Наплевать! Ты только не грусти. Те, на ком теперь пиджак бордовый, – на хрена они нужны Руси!» Дед ухватил руку бомжа, благодарно затряс её. Прослезился. И, шмыгнув носом, полез в своё ведро. Достал оттуда кошелёк, покопался в нём и гордо выдал бомжу десятку: знай наших! Потянулась к своей сумке и Светлана Алексеевна. А бомж уже обращался к ней.

Бомж обращался к ней: «Пусть я пьянь, негодяй и уродина. У тебя на щеке красивая родинка». Светлана Алексеевна

вскинула руки к запылавшим щекам, прикрывая на всякий случай обе. Ей было ужасно неудобно, что все на неё смотрят – и не просто смотрят, а пытаются разглядеть, есть родинка или нет. А бомж всё не отходил: «И если бы был даже пьяным я в доску, всё равно б увидел твоё платье в полоску».

Платье в полоску, голубую, белую и красную, было уже никак, конечно, не прикрыть. Светлана Алексеевна не знала, куда деться от любопытных глаз всего вагона (сколько же их? сколько?!), а вот от одной пары, серых и внимательных, деваться никуда не хотелось. Но и смотреть в них она не могла: не умела. Поэтому свои глаза, влажные и растерянные, она просто опустила. Продолжая при этом слушать: «У тебя, наверно, муж и дети. У меня – котомка да вокзал. Если б мог, то все сокровища на свете за тебя, красивую, отдал».

Дед по-простецки хлопнул Светлану Алексеевну по колену: «Гляди-ко, влюбился!» Она подняла глаза на деда: он хитро и радостно щурился. А «книжница» снова передёрнула плечами и тихо проговорила, то есть прошипела: «Да он так всем говорит!»

«Да он так всем говорит», – автор импровизаций это тоже услышал. И сказал ей, опять без рифмы: «Да нет, лапушка, не всем». Светлану Алексеевну снова поразило слово «лапушка», которое было из какого-то другого времени и никак не вязалось с возрастом стихоплёта (не больше сорока). Но очень даже вязалось с его глазами и со всем его обликом, бедно-благородным и полным достоинства. И «поэт», будто

прочитав мысли Светланы Алексеевны, сказал ей: «Прощай, лапушка». И быстро пошёл вперед, осторожно продвигаясь между людьми и стараясь не задеть корзины с рассадой, стоящие в проходе. Светлана Алексеевна вспомнила, что рука её не дотянулась к сумке, за кошельком. Захотелось догнать. Но было неловко. Все увидят. Выждав некоторое время, она спокойно поднялась и тоже стала пробираться к выходу. Никто и не догадался, что она пошла за ним.

Она пошла за ним, совершенно точно зная, что догонит его не за тем, чтобы отдать не отданный сразу рубль. Но что она ему скажет, если ей всё-таки удастся его догнать, она пока ещё не знала.

*2001 г.*

# Одиночество

*Светлой памяти моей мамы –  
Валентины Максимовны Крючиной.*

Долгие всё гудки-то. Никто не подходит. И вчера так, и позавчера. А завтра-послезавтра, смотришь, и ответят. А я им что? Да ничего. Трубку положу. Не станешь же объяснять, что этот номер нашим был... Лет, наверное, двадцать. Да какие двадцать! Толи уж нет пятнадцать. А он начал сразу добиваться, как только в квартиру въехали. Да года три ждали. Так что все тридцать, считай. Ну правильно... Иринке тридцать пять... А сюда приехали, ей было год и восемь месяцев, я как раз на работу пошла. Тридцать три года в этой квартире живём.

Дата-то какая – тридцать три. Возраст Христа... Вот я думаю... Почему-то все всегда произносят это с таким энтузиазмом и никогда не добавляют: «когда его распяли». Мужчины любят, когда им столько исполняется. Чудные. Если уж на Христа равняться, то не на годы, когда он смерть принял. А на его тридцать, когда проповедовать начал. К чему это я про Бога-то? А, ну да... Вон уж сколько лет здесь живем... Весной тридцать четыре будет. Серёже нашему тридцать четыре было, когда с ним случилось... Толи уж не было. Похоронили. А через полгода – у Серёжи инсульт. Кто мог подумать? Никогда ни на что не жаловался, молодой, здоровый.

Медкомиссию каждый год проходил. Подводник ведь. Как отец. Только Толя демобилизовался из-за язвы капитан-лейтенантом. А Серёжа до капитана третьего ранга дослужился, а дальше уж не пришлось. Толя мечтал, что у Серёжки служба сложится. Она и складывалась. Гордились мы им очень. Ох, Господи, как он там теперь? Приехал бы тогда к нам сюда. Квартиру уж получил бы давно, а не с тещей бы жил. Нет, как же – Питер, Питер, там все друзья. Где они теперь, друзья-то? Правда, Ольга ещё настаивала, потому что врачи там лучше. Лучше, а вот не вылечили. Ну хоть на своих ногах. Это благодаря Ольге, она его выходила. Когда всё случилось и его на вертолёте из их Гремихи в Североморск отправляли, надежды, говорят, совсем не было. Четыре месяца она от него не отходила, считай, в госпитале и жила.

Звонил Серёжа на днях. Голос бодрый. Приедет, может. У него проезд бесплатный раз в год. Мне уж к ним – никак. Где такие деньги возьмёшь? Вон что натворили... Кто думал, что в Ленинград не по карману будет съездить? Не на Камчатку ведь. Тогда и не думали, отпускные получишь – хоть куда езжай, а уж в Ленинград-то... От Москвы билет на дневной поезд рублей восемь, что ли, стоил. Да электричка до Москвы – рубля три. Нет, не три! Это на «Берёзку» три пятьдесят, а электричкой-то простой я и не ездила никогда. В «Берёзку» сядешь – чистота, красота, даже чай носят. Это уж кто три пятьдесят жалел, тот на электричке ездил.

Наберу-ка ещё. Нет, гудки длинные. Может, и не дадут

наш номер никому. Легче мне так будет. Зять пришёл когда, довольный, разговорчивый (выпил, вот и разговорился!), – «Мам, у нас теперь номер другой будет» – и назвал какой-то, я до сих пор не запомнила, бестолковый какой-то номер-то, – так у меня всё внутри оборвалось.

– Да зачем нам новый номер? Чем тебе старый был плох?

А он:

– АТС – старая, работает плохо, подключат нас к другой.

Мам, ну не надоело тебе, что связь обрубается постоянно?

Надоесть-то надоело. Только уж жалко очень. Как будто жизнь оборвалась... В какой уж раз обрывается... Сначала, когда мама умерла, потом – Толя, потом Серёжа заболел, потом Ирка разводилась, потом Генка человека покалечил в драке, хоть и не по его вине, оборонялся, а под следствием год почти был. А теперь вот Ирка снова... Вон чего задумала.

И каждый раз, как саданёт, так думаешь, что уж теперь точно не выживу. А живу. Откуда силы?

Вот, Толь. К тебе пришла, в кресло своё.

Тебе хорошо, у тебя уж давно проблем никаких. Хотя глаза на портрете – грустные (Ирка всё хочет фотографии со стены снимать... значит, и твоя пойдёт в ящик стола, когда умру). Да... Улёгся себе и полёживаешь. А я тут... Только успокоишься, только в себя придёшь – получай снова!

Вот Ирка. Тридцать пять человеку, а как ребёнок. Куда кривая вывезет! Представляешь, задумала увольняться из института. Ну что это такое, скажи на милость?

– Зачем же защищалась? – говорю.

А она:

– Мама, ты ничего не понимаешь! У меня другое предназначение в жизни!

– Да ведь года не прошло, как защитилась. Тебе же нравилось. И предмет твой, и сам институт, и всё. Теперь-то что изменилось?

– Всё! Чувствую, – говорит, – что живу не свою жизнь.

– Господи, да ты же шесть лет талдычила, что нашла себя. Что тебе нравится преподавать. Что тебе нравится твоя риторика.

– Ну нравилась, – говорит, – я от своих слов не отказываюсь.

– Очень, – говорит, – нравилась. И теперь не могу сказать, что не нравится. Но я чувствую, что это всё себя изжило. Понимаешь?

– Да что ты придумала? Как это изжило? Что ты вбила себе в башку свою непутёвую? Ты теперь кандидат наук, на доцента документа предложили подавать. Что ж это всё, коту под хвост?!

– Нет, не коту под хвост, – кричит, – в жизни ничего не бывает просто так! Значит, это было нужно!

– А теперь?! – тоже уж кричу благим матом.

– А теперь будет другое! – вопит ещё громче.

– Какое другое? Что другое?

Это я шептала уже без голоса, сил кричать не было. А ноги

– как ватные. И сердце вот-вот остановится. А она плачет... корвалолола мне накапала... говорит: не знаю.

Вот какие дела-то у нас тут...

Вот был бы ты живой. Хотя... И ты бы с ней ничего не сделал! Думаешь, когда она десять лет назад разводиться хотела, уговоры мои помогли? Не-е-т. Бросил её тот-то, и она быстрее – снова к Жене. Слава Богу, взял назад. Кто бы ещё выкрутасы её стал терпеть? Светочка тогда всё понимала, шесть ей было. Наша-то ей объяснила всё про любовь. Папа, мол, у нас очень хороший, но я полюбила другого мужчину, и мы будем с ним жить. А Света:

– А папа с кем будет жить?

– Пока один, – отвечает Ирина, – а потом кого-нибудь встретит, полюбит и женится.

А Светочка в слёзы:

– Так у них же ребёночек родится, а как же я?

Во-о-т что я пережила. Идём тогда со Светочкой как-то, а она кричит:

– Смотри, бабуля, машина с каким номером поехала! Загадывай скорее желание!

Загадала я, конечно, чтоб Ирка к Жене вернулась. А Светочку спрашиваю:

– Ты что загадала?

А она:

– Нельзя, бабуль, говорить, а то не сбудется.

Не сказала. А потом, когда мать ей объявила, что, мол, к

папе возвращаемся, она выскочила на кухню, повисла у меня на шее: «Бабулечка моя миленькая, я знала, я знала, что сбудется! Но не знала, что так быстро!» Быстро... Мне тогда те два месяца, когда это всё закрутилось, годом показались. Вечностью. И проклинала я её, и как только не называла, и жалела, глядячи, как она разрывается между двумя мужиками: и этого не бросить, и без того не жить. А уж что с ней было, когда поняла, что не выйдет ничего... Что не может тот семью-то оставить... Грех на мне, молилась я об этом день и ночь, рада была, что не сложилось у них. Да только какой же это грех, наоборот. Да-а-а... Что с ней было...

Своевольная она у нас росла, сам знаешь. Помнишь, ты всегда вроде как в шутку говорил: «Мы не позволим тебе делать так, как захочет твоя левая пятка!» А она только всегда так и делает. Пятка ли или ещё чего, не знаю. Слов твоих простить не может. «Давили вы на меня всегда, – говорит, – и воспитывали. А ребенка нужно любить и баловать». Баловать. Ударение надо ставить на последнем слоге. Все кругом неправильно говорят: бАловать, избАлованный. И по радио, и по телевизору. А вот ещё – «убираться». И в передачах во всех, и в сериалах. Ни разу не слышала, чтоб кто-нибудь правильно сказал, без «ся». Я всегда ученикам говорила: «Убраться – это выйти вон!» Запоминали, правильно говорили. А сейчас, наверное, никто и не учит. Всем наплевать, зарплату учителям не платят, они и работают так же. Да и сами-то говорят кое-как. Почти все в нашей школе:

класс «с углубленным изучением...» Безобразия! «Мусоропровод», «свекла»... А «позвонишь»? Это просто бедствие какое-то!

Что это я расселась? Уж скоро все придут. Да вроде есть там на ужин-то: рис утром ещё сварила, колбасы Иринка вчера купила. Ну и ладно...

Вот ты думаешь, удастся её уговорить, чтобы она институт не бросала? Нет! На неё все мои доводы, как красная тряпка на быка, действуют. Сразу кошки в дубошки, как бабушка моя всегда говорила, кричать начинает, чуть ли ногами не топает. Не понимаю я, мол, ничего. А она понимает. В дверь звонят. Света, наверное, из института пришла. От этой хоть пока никаких сюрпризов. Пойду открывать.

Что, ты думаешь, Ирка мне вчера заявила?

– У меня, – говорит, – патологическое отсутствие чувства долга. Я ничего из долга делать не могу и не буду!

– А долг перед детьми, перед семьёй? Перед Родиной, если хочешь?

– А нет никакого долга, – говорит, – ни перед кем. И быть не должно. Есть любовь, привязанность, интерес – вот и всё. И к детям, и к Родине, и к работе, и к мужу.

– Так, знаешь, до чего дойти можно? – это я ей.

– До чего? – спрашивает и губы кривит насмешливо.

Это на неё «давили» и её «воспитывали», а не любили и

не баловали. Не «додавили», значит. Раз она такая независимая. Без тормозов. Без долга. Слава Богу, Светочка не в неё. В Женю больше. Он тоже, конечно, не подарок. Молчит и молчит. Ванна подтекает, раковина на кухне на честном слове держится, замок у входной двери барахлит. У тебя всё в руках горело. Зато не пьёт почти. И меня не обижает. От Иринки натерпишься больше. А он, когда выпьет, всё расскажет. И с ним всегда можно поделиться. Он трезвый-то и не говорит особо, а хоть слушает. Ирка-то ничего не хочет слышать, начнёшь ей про учеников (встретила кого или позвонил кто), про события в стране, а она только:

– Мам, ну неужели ты думаешь, что мне это интересно?

– А что ж тебе, дорогая моя, интересно?

– Всё остальное! – смеётся. И поскакала. Всё на бегу, всё на ходу: то в театр, то на концерт. Дома не удержишь. Женя-то не любитель всей этой канители, ему бы дома у телевизора полежать. И чтоб никто не трогал. Он и отпускает её одну. Что за жизнь? Мы с тобой везде вместе ходили. Может, нечасто, но всегда только вместе.

А ведь диссертацию он ей сделал. Думаешь, она бы без него защитилась? Там ведь не только ум – там сколько труда должно быть вложено. Она насочиняет... Сидела, правда, много, из библиотек не вылезала, и в Москву сколько ездила, в Ленинскую (или как там её теперь называют)... Так вот. Насочиняет-насочиняет, всё – на разных листочках, всё исчёркано.

– Жень, попечатай, – кричит с кухни. На ходу жуёт, в театр или ещё куда собирается.

– Ты бы подиктовала, – это он. Робко так, особо и не надеясь.

Она подлетит к нему: «Женечка, миленький, Женечка-солнышко, ты же сам прекрасно разберёшься! Ну пожалуйста!» Почмокает его и побежит. Бабушка моя опять же (Царство ей Небесное) сказала бы: «И-их, босомыка!» Ирка больно это слово любит, всегда вспоминает. Знает, что к ней уж очень подходит. Или вот еще бабушкино – «колотырка». Тоже про неё. И в кого она такая? Умом, разворотливостью – в тебя, а легкомыслие такое откуда взялось? Она всегда говорит: «Это звёзды!» Вот и весь сказ. Начитались гороскопов, и чёрт им не брат. Мы тогда ничего про это не знали. Зато про долг знали, и про обязанности знали. А эти... Так, пустота одна!

Ну вот, опять я с тобой говорю. Только с тобой и говорю. Ой, телефон! И звонок какой-то теперь не такой. Погоди, пойду отвечу.

Это Клава. «Чего не звонишь?» – спрашивает. А чего звонить? Про Ирку рассказывать? Как скажешь? Как объяснишь? Была преподаватель института, ещё бы чуть-чуть – доцент. А теперь кто? Никто. И звать никак. А уж про то, что она задумала, и вовсе надо молчать. И знаешь, Толь, шутит

вроде: «Писательницей, – говорит, – стану». А сама ведь, и вправду, так думает. Вроде умной все считают. Считали... Вон Сашка Агафонов – наш, из Озерков, помнишь? – писатель, известный. А книжки его уценяют и уценяют, хоть даром забирай. Я видела в магазине: написано было – «пять тысяч», потом зачеркнули, написали – «одна тысяча», а потом – «пятьсот рублей». Это теми ещё деньгами, с тысячами. Я ей про это рассказываю. А она только хохочет:

– Я, мам, не такой писательницей буду!

– А какой же?

– Увидишь, – чмокнула меня в щёку на ходу, намарафетилась и, как всегда, куда-то помчалась.

Ох, и рассердиться на неё не получается. Ведь я сначала про всё это и слышать не хотела. А теперь вроде и смирилась. А что сделаешь? Заявление так ведь она и подала. Вчера. Это среди года! Кто ж так делает? Ты доработай. «Не могу, – говорит, – хоть режьте!» Кто ж её резать будет? И завкафедрой к ней хорошо относилась. И уговаривала её как. А она всем в душу плюнула. Мне-то ничего не сказала, как всё было. «Нормально», – говорит. А Жене рассказывала, я слышала. «Потоптали меня слегка», – вроде смехом сначала. А потом: «Правда, сказали, что это я их топчу». Правильно сказали. А как ещё скажешь? Только своё «я» и понимает, а на всех наплевать. Одно заладила: «Не могу – и всё. Могла бы – работала».

Вот так мы, Толя, и живём. Ой, ну ладно. На рынок пойду,

потом обед надо успеть приготовить.

Знаешь, а я ведь вчера снова номер наш набрала. Случайно получилось. Уж к вечеру. Я и на рынок ходила, и приготовила всё, и убрала. Дай-ка, думаю, Клаве позвоню. А набрала наш телефон. У Клавы-то на одну цифру отличается. Помнишь? А там отвечают. Мужской голос. Незнакомый. Я говорю:

– Это квартира Сениных?

А мне в ответ:

– Нет, вы ошиблись.

Я:

– Это такой-то номер?

А он:

– Нет.

И называет наш, ну в смысле, старый. Я так и обомлела. А он трубку не кладёт. Я и сказала, что это наш номер был. А он – что ему вчера только подключили. И начал говорить, говорить... Один, наверное, живёт. Всё рассказал. Что на очереди давно стоял, уж и надежду потерял, теперь ведь всё за деньги, плати – получай. И вдруг приходит ему открытка: ваша очередь подошла. И написано, платить сколько: миллион четыреста (это он старыми ещё назвал). А так две тысячи шестьсот (это уж новыми) платят все, кто телефон без очереди хочет. Он заплатил. Подключили.

Ну вот... Говорил он, говорил – и вдруг спрашивает:

– А вас как зовут?

А мне чего выкаблучиваться?

– Татьяна Михайловна, – говорю.

А он:

– А меня Пётр Григорьевич. Вот и познакомились. А вы мне ещё позвоните?

И ведь, знаешь, правильно сказал: «позвонИте». Я и ответила, что позвоню как-нибудь. По голосу и по манере, видно, интеллигентный мужчина. Нашего, наверное, возраста.

Вот я всегда думаю. Неправильно всё. Вместе умирать нужно. Лежали бы сейчас с тобой. А они тут – как хотят!

Поверишь, как в коммуналке живём. Весь день одна. Ну да это ладно – кручусь, не замечаю. А вечером – все по своим конурам. Из Светы слова не вытянешь. «Как в институте?» – спрашиваю. «Нормально», – отвечает. Поговорили. Ирина, когда дома, закрывается в своей комнате, лишний раз поговорить не выйдет. А уж если появится – то обязательно с выговором: картошку не так почистила, кашу не ту сварила. Женя говорит, только когда выпьет. Генка заходит, когда денег нет.

Вот и сижу тут одна в кресле. Телевизор надоел, всё одно и то же. «Комсомолку» читать тоже уж не вмоготу, сплетница стала – а не газета, а других они не выписывают. Книжки... Да уж начиталась в своей жизни. Быстрее бы апрель, там огород начнётся. Нина с Сашей тоже ждут-не дождутся. Да им

и сейчас неплохо, вместе-то. Хорошо они встретились. Да... И так бывает. Нина хорошего мало видела со своим Колей. Нам-то обижаться на него не за что. Любил наших детей. Это они Нине – племянники родные, а ему – кто? А вот любил, всех троих. Пил – это да. Когда Нина его похоронила, хорошо зажила, спокойно. Но его только добром вспоминала. И никого не хотела, никого. Сколько её пытались знакомить, а она: да зачем мне тут какой-то мужик чужой? Слышать даже не желала. А тут Саша... У него жена тоже умерла. Нина-то лет пять или шесть одна прожила, а он жену год как похоронил. И ведь как зажили! Душа в душу. Мы тогда и огород сразу взяли. Вместе. И домик маленький Саша построил на всех. Завидуют нам: дружно вы, сёстры, живёте. Так и не бывает, говорят. Только они-то, Нина с Сашей, вместе, а я – всё равно одна. Везде – одна. И когда ты меня заберёшь?

Сон видела недавно. Вроде, едем в трамвае или в троллейбусе. Вдвоём. Сидим напротив друг друга, разговариваем. И так мне хорошо. И так мне спокойно. Ехала бы и ехала. А трамвай этот (а может, троллейбус – не помню) остановился, двери открылись – ты мне и говоришь: «Иди». А я: «Да нет, с тобой поеду». Ты вышел, руку мне подал. А потом долго так посмотрел, ничего больше не сказал. Зашёл снова в этот трамвай... ну и... уехал, в общем. Проснулась – плакала долго. И сейчас плачу. Плохо мне, Толя, без тебя. Так плохо, хоть волком вой. Некогда только выть-то, дел полно.

Как же с Ириной тяжело. Я так и знала. Уйдет из института – мне покоя совсем не останется. Так и есть. Ходит всеми днями хмурая, не разговаривает, только глазами на каждое слово сверкает. А вчера вечером в своей комнате на Женю как закричит, как закричит. А потом плакала, да громко как, навзрыд (это уж она умеет, с детства, ты знаешь), и всё причитала: «Мне так никогда... Понимаешь... Никогда... Вот у неё поющая точка в груди (какая точка? у кого?), а у меня так тоже... но я не могу поймать. Понимаешь?!» А Женя, слышу, её успокаивает. Потом выбежал на кухню, за корвалолом. Я ему: «Женя, что случилось?» А он: «Потом, мам, потом». А уж ночью, когда Иринка уснула, мы с ним на кухне посидели. Хорошо так поговорили. Мучается она. Порассказала всем, что в писательницы уходит. А не получается, говорит, у неё так, как у Виктории Токаревой. Уж что она в этой Токаревой нашла, не знаю. Читала я её. Не нравится мне. Не понимаю. Я на классике воспитана. Из современных люблю Бондарева, Абрамова, ну ты знаешь...

Вот видишь, страдает, а мне – ни слова. Не пойму, думает. Конечно, куда мне! Только Жене всё рассказывает. Что ж я, хуже Жени? Я всё-таки тоже литфак закончила, а отработала в школе сколько – не чета ей. Ко мне ребята со всем своим шли. Всех понимала. Только своих не понимаю. Это они так считают. К Генке вообще не знаешь, как подступиться. Что ни скажешь – всё не так. Только по шёрстке всех гладь. Сейчас хоть у них с Аней всё нормально. Да и то уж, ребёнку

третий год. Пора найти общий язык. Первый год жили как кошка с собакой. Мы всё боялись: разведутся. Через день Генка пьяный у нас появлялся. Придёт, весь никакой (это Иринка так говорит). Поругались. Оставайся ночевать, скажешь. Останется. Среди ночи вскакивает – к ней бежит. На следующий день приходят. Счастливые, друг на друга не наглядятся. А я всю ночь глаз не сомкнула. Сейчас вроде лучше, а там – кто их знает. Молюсь каждый вечер и каждое утро, чтоб всё нормально у всех.

Толик Генкин как же на тебя похож! Не хотели Анатолием называть: имя не нравилось. Но всё-таки решили. Мне, конечно, очень хотелось, чтобы в честь тебя. А он – копия ты. И умный такой же, и такой, знаешь, сообразительный. На всё ответ найдет.

Ладно, буду ложиться. Уже второй час. Уже второй... Как у Маяковского. Как же я его любила! На первом уроке по Маяковскому всегда читала сначала «Неоконченное», потом – «Флоты – и то стекаются к гавани...», потом – «Хорошее отношение к лошадям». И говорила: «Как вы думаете, чьи это стихи? Это Маяковский!» А сейчас его заплевали, особенно «Стихи о советском паспорте». Это не поэзия – это заказ! Конечно, не понять, как он любил родину. Да! Именно советскую! И мы любили. А эти сейчас никакую не любят – ни советскую, которая их вырастила и образование им дала, ни теперешнюю, капиталистическую. Только и норовят все: кто в Германию, кто в Израиль. И глаза закатывают: «Ну что

здесь делать?» Конечно, когда всё развалили, делать нечего. Эх, Толя, думал ли ты, что такое будет? Да никто не думал. А вот...

Ладно, помолюсь сейчас... Ты теперь удивляешься, что я молиться стала. Да вот стала. Где у меня листочек? Молитву у Али какую хорошую переписала, когда она приезжала, а наизусть никак не выучу. Вот что тогда учила в школе, в институте – всё помню. А теперь память подводит...

Помнишь, я тебе про Иринку-то рассказывала недавно? Вроде получше сейчас. Повеселела. Почему – не знаю. Наверное, научилась, как Токарева, писать. Я ей говорю:

– Если, Бог даст, издашь свою писанину, я читать ни за что не буду. У вас там теперь один секс.

А она:

– А куда ж без секса? Это жизнь!

Вот и поговори с ней. Стыда потом не оберёшься от знакомых. Говорю:

– Ты бы хоть псевдоним какой взяла.

А она:

– Ну конечно! Зачем мне псевдоним? У меня вон какая фамилия красивая!

– Это ты уж Жене спасибо скажи, что он, с такой своей фамилией, на тебе женился.

– Скажу, – говорит, – скажу!

Весёлая. Ну дай Бог, дай Бог.

А ведь позвонила я этому... Петру Григорьевичу-то. Обрадовался. Час разговаривали, а может, и больше. Но он не только о себе... и меня расспросил обо всём. Мне как-то особенно грустно вчера было. Дай, думаю, позвоню. А он по голосу сразу понял:

– Татьяна Михайловна, у вас что-нибудь случилось?

– Да вроде и не случилось ничего, – говорю. – Всё, чему случиться, уж, наверное, позади.

– Голос у вас очень печальный.

– А с чего ему быть радостным? Кругом одни проблемы. И в семье. И в стране.

– Да в стране у нас безобразия сплошные. – И начал мне про политику. Умный мужик. Всё по полочкам разложил. Молодец. Ему бы с Нининым Сашей поговорить.

Говорил он, говорил, а потом:

– Да что это мы о политике всё? Расскажите лучше, Татьяна Михайловна, про себя.

Я и рассказала. Как мы с тобой дружили с девятого класса (тогда ведь так говорили – «дружили», а не «встречались»; сейчас, может, и ещё как говорят – не знаю), как ты после школы поступил в военно-морское училище, а я – в учительский институт. Как письма твои ко мне не доходили: родственники твои старались. Не нравилось им, что у меня мать – уборщица, отца на войне убили – бедность одна. Вы-то жили куда лучше. Отца на фронт не взяли, он ведь железнодо-

рожником был, начальником станции, мать не работала. Тётка твоя письма мне писала: «Ты, учительшка, ему не пара, наш Толя – офицер...» Ой, у меня ж там кипит!

Ну вот, всю плиту залило. Дай-ка сразу притру. «Наш Толя – офицер...» А он ещё курсантом был, когда мы поженились. На 23 февраля в отпуск поехал не к родителям, а сначала – ко мне. Я тогда работала по распределению в такой глуши, что и не расскажешь. От станции сорок километров пешком шёл, ноги чуть не отморозил. Дошёл. И говорит: завтра в сельсовет. 22 февраля мы расписались. День был солнечный, радостный. Воскресенье. Выборы были. А тогда это какой праздник для всех был! Из сельсовета вернулись – тётя Ксюша, хозяйка моя, с иконой нас встретила. А тут и учителя набежали. Кто картошку, кто огурцы, кто яблоки мочёные принёс! Пир горой получился. Родителям своим ничего он не сказал... Но я-то этого не знала: сказал, что написал. Его-то простили, а меня... Всю жизнь простить не могли. Только Аля, его младшая сестра, из всей их родни хорошо ко мне относилась. И Клава, Витина жена, ей тоже пришлось хлебнуть...

Ну а потом служба началась. Сначала Рига, потом Ленинград, Кронштадт, Эстония. По квартирам скитались с маленьким Серёжей. Сколько унижений, сколько всего... Разве расскажешь? А вот ведь рассказывала всё Петру Григорьевичу-то.

Всё, вернулась к тебе. Дальше рассказываю. В общем,

вспоминала я, вспоминала, а потом спохватилась:

– Вы уж извините, заболтала я вас совсем.

А он:

– Что вы, что вы! Мне очень интересно. Я ведь тоже военный. Ракетчик. Мы тоже с женой сколько по точкам скитались. Похоронил я её четыре года назад. Рак. И сын у меня военный, майор уже. На Севере служит, семья у него, двое детишек. А дочь – на Украине, муж у неё оттуда. Один вот кукую. Зовут к себе – и сын, и дочь. Да к чему срываться с насиженного места? И жена у меня тут похоронена.

А потом меня спрашивает:

– Татьяна Михайловна, а сколько вам лет? Если не секрет, конечно.

– Да какой уж секрет. Шестьдесят семь, – говорю.

– А мне шестьдесят восемь недавно стукнуло. Один отмечал. Друзья – кого уж нет, кто болеет. Дети телеграммы прислали. Теперь вот звонить будут. И я, смотришь, позвоню. Дорого хоть, а иногда можно, пенсия позволяет. Я ведь до полковника дослужился.

Вот так мы с ним и поговорили.

А я, знаешь, как взялась вспоминать, так и не могла потом уж, после разговора с ним, остановиться. Дела бросила (всё не переделаешь!), достала коробки с письмами твоими. Долго читала. Плакала, конечно, много. Хорошо, дома никого не было. Ирина со Светой позавчера уехали в Москву. В Москву – разгонять тоску. Всё, говорят, денег нет. А вот под-

хватились да поехали. И Женя отпустил: пусть развеются. У Светы первые студенческие каникулы, хоть какие-то впечатления будут. Это он так говорит. На впечатления деньги грохнут, а потом – зубы на полку, штаны на крючок. Если б не пенсия моя, так и сидели бы голодные. С зарплаты накупят-накупят всего: и сосиски у них, и колбаса, и бананы, и апельсины. А через два дня, смотришь, всё подмели – и хлеб не на что купить. Вот нет у них привычки покупать то, без чего не обойтись, – крупы там всякой, макарон, масла растительного. Может, на меня, конечно, надеются. Я-то это всё припасаю. Да забочусь, чтоб обед нормальный всегда был: суп или щи, на второе чтоб тоже было что поесть. Без меня, наверное, так, всухомятку, и питались бы. Иринка, правда, готовит хорошо. Женя только её борщ любит. У меня так не получается. Да она ведь только по настроению. Настроения нет – и обеда нет. А обеда нет, значит, все деньги (если они есть, конечно) – на колбасу да на пельмени готовые (а уж какие там пельмени эти покупные... я их даром есть не стану, а они уплетают за обе щеки). Если б мяса немножко купить, да приготовить всё как надо – и деньги бы сэкономились. Ой, да ну их! Как хотят! Свою голову не приставишь.

Про что я тебе рассказывала? А, про Петра Григорьевича. Я ещё ему, пожалуй, позвоню. А то и поговорить не с кем. С тобой – только мысленно. Вслух начнёшь, Иринка из комнаты своей кричит:

– Мам, ты с кем там?

– Да с собой, – говорю. – С вами-то разучишься скоро мысли свои формулировать.

А она:

– Мам, ну почему ты ни с кем не дружишь? Сходила бы к Клаве своей или к соседке.

Почему не дружу? Дружу с Клавой. Только когда нам с ней разлялякивать (это Нина так любит говорить – «разлялякивать»), на ней тоже семья, внуки. Раз в месяц, может, и видимся. К Нине с Сашей езжу иногда с ночёвкой. Там поговоришь. А уж по соседкам ходить, сплетни дворовые собирать... Ни к чему мне это. У меня своего хватает. А делиться всем этим – не то, что с соседками, а даже с Клавой или Ниной не получается.

Знаешь, с Петром Григорьевичем легко мне было вспоминать и рассказывать. Не знаю, почему. Как в поезде. Человека видишь в первый и последний раз – а рассказать хочется про себя. И его послушать интересно. Откровенными получаются такие разговоры, без фальши, без выдумки. Казалось бы, сочиняй (проверить-то нельзя) – а нет, как на исповеди всё выкладываешь. Почему так?

Ещё тебе хотела рассказать. У нас в доме беда какая. В третьем подъезде. Два гроба привезли: муж с женой разбились на машине. Молодые, чуть за тридцать обоим, двое детей. Сегодня хоронили. А я ведь эту девчонку (для меня она, конечно, девчонка) помню. Наш Генка с её братом младшим бегал вместе во дворе. Я особо её не знала, просто видела –

вон Колькина сестра идёт. А у неё уж свои дети. Остались теперь сиротами.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.